

Оноре де Бальзак

Гранатник

Гранатник — маленькое поместье, расположенное на правом берегу Луары, милею ниже Турского моста. В этом месте река, широкая, словно озеро, усеяна зелеными островками, а на крутых ее берегах белеют каменные деревенские дома, окруженные виноградниками и садами, где зреют на южном солнце прекраснейшие в мире фрукты. Неустанные труды нескольких поколений превратили расселины скал, отражающих солнечные лучи, в естественные теплицы, где растут в открытом грунте плоды жарких стран. Все эти разбросанные по склону домики принадлежат деревеньке Сен-Сир, в центре которой тянется к небу высокая колокольня, расположенная в одной из самых неглубоких лоцин. Чуть подалее цепь холмов пересекает плодородная долина, по которой катит свои воды в Луару речка Шуазиль. Гранатник, раскинувшийся на склоне холма, как раз на полпути к воде, в сотне шагов от церкви, — одна из тех старых, насчитывающих не одну сотню лет усадеб, каких немало в живописных уголках Турени. Расселина в скале облегчила постройку сходней, которые плавно спускаются к насыпняку, как зовут в этих краях укрепляющую берега Луары дамбу, по которой проходит дорога из Нанта в Париж. Наверху сходни упираются в ворота, а за воротами начинается посыпанная гравием дорожка, которую окаймляют увитые виноградом шпалеры, служащие своего рода заслоном от обвалов. Дорожка эта, идущая вдоль подножия верхней террасы и почти не заметная за кронами деревьев нижней, круто поднимается в гору, и чем выше взбирается по ней путник, тем лучше видит струящуюся внизу реку.

Дорожка приводит ко вторым воротам, старинным, со стрельчатой аркой, — их нехитрые украшения осыпались, постройка пришла в запустение и поросла диким левкоем, плющом, мхом и постенницей. Эти бессмертные растения покрывают стены всех террас, пробиваясь сквозь трещины в кладке и расцветившая камни яркими красками, сменяющими одна другую с той же частотой, с какой сменяют друг друга времена года.

Войдя в обшарпанные ворота, вы попадаете в садик, разбитый на отвоеванной у скалы последней террасе, чья черная ветхая балюстрада нависает над склоном; терраса эта, поросшая травой, обрамлена несколькими деревьями и усыпана розами и другими цветами. С другой стороны террасы, напротив ворот, стоит деревянная беседка, едва заметная в зарослях жасмина, жимолости, винограда и ломоноса. Посередине этого верхнего сада, на выступающем из земли фундаменте, увитом виноградными лозами, которые почти полностью скрывают дверь, ведущую в вырытый в скале просторный подвал, стоит дом. Он окружен виноградными кустами и гранатовыми деревьями, растущими в открытом грунте, — отсюда и название усадьбы. На фасаде дома красуются два широких окна, разделенных неказистой дверью; под шиферной крышей с двумя коньками, на удивление высокой по сравнению с довольно низким первым этажом, приютились три мансарды. Стены выкрашены в желтый цвет, а дверь, ставни нижнего этажа и жалюзи верхнего — в зеленый.

Войдя, вы попадаете на маленькую площадку крутой лестницы, меняющей форму с каждым пролетом; дерево, из которого она сколочена, прогнило, витые перила потемнели от времени. Справа расположена просторная столовая, стены которой на старинный манер обшиты деревянными панелями, а пол выложен белой плиткой из Шато-Реньо; слева — таких же размеров гостиная, оклеенная золотистыми обоями с зеленой каймой. Потолки в обеих комнатах не оштукатурены: щели между балками из орехового дерева законопачены глиной,

смешанной с саманом и очесами. На втором этаже находятся две большие спальни; стены здесь побелены известью, а сложенные из камней камин отделаны не так роскошно, как в первом этаже. Все окна и двери в доме выходят на юг. На север смотрит только дверь черного хода, ведущая в виноградник. Слева к дому примыкает деревянная пристройка, чьи балки защищены от дождя и солнца шифером, отбрасывающим на стены то прямые, то косые синие тени. В пристройке этой помещается кухня, сообщающаяся напрямую с домом, но имеющая также и отдельный выход на крыльцо, поднятое над землей на высоту нескольких ступенек; подле крыльца вырыт глубокий колодец с деревянным насосом, обросшим казацким можжевельником, водорослями и осокой. Пристройка гораздо новее дома — это означает, что некогда Гранатник был просто-напросто «виноградной корзинкой». Владельцы усадьбы приезжали из города, находящегося на другом берегу полноводной Луары, только для того, чтобы собрать урожай или отдохнуть на лоне природы. Они с утра посылали в усадьбу слугу с провизией, но ночевать не оставались — разве что во время сбора винограда. Однако когда на Турень саранчой налетели англичане[1], хозяева, надумавшие сдать дом, были принуждены кое-что в нем перестроить. К счастью, современную пристройку почти полностью скрывают липы, растущие в овраге. Виноградник площадью около двух арпанов раскинулся над домом на склоне холма, таком крутом, что не всякий способен его одолеть. От этого холма, покрытого зелеными виноградными лозами, дом отделяет овраг шириной от силы пять футов, вечно сырой и холодный, заросший буйной растительностью, — в дождливую погоду сюда стекают удобрения, которыми подкармливают кусты винограда, что идет на пользу саду, разбитому на верхней террасе. Фермер, выращивающий виноград, живет в домике, прилепившемся к вершине холма с левой стороны; домик этот крыт соломой и так же невзрачен, как и кухня. Усадьба обнесена стеной и увитыми виноградом шпалерами; виноградник обсажен фруктовыми деревьями; одним словом, ни один дюйм этой драгоценной земли не пропадает впустую. Даже если какой-нибудь кусочек бесплодной скалы ускользнет от внимания человека, природа взрастит там фиговое дерево или полевые цветы, или несколько кустиков земляники, прячущейся за камнем.

Нигде в мире вы не найдете поместья разом столь скромного и столь просторного, столь изобильного плодами, ароматами, видами. Эта усадьба — малая Турень в самом сердце большой Турени, где щедро представлены все цветы, фрукты и красоты этого края. Тут и виноград, и фиги, и персики, и груши всех видов и сортов, и дыни, зреющие прямо под открытым небом, равно как и лакрица, испанский дрок, итальянский олеандр и азорский жасмин. У ваших ног струит свои воды Луара. Вы смотрите на ее излучины с высоты тридцати туазов; вечером вас овеивает свежий ветерок, прилетающий с моря и приносящий с собой благоухание далеких цветов. Плывущее по ярко-синему небу облако, всякий миг меняющее цвет и форму, сообщает тысячу новых обликов великолепным пейзажам, которые открываются вашему взору с любого места. Глазам вашим предстает левый берег Луары — сначала плодородная равнина ниже Амбуаза, где раскинулся Тур с его предместьями, и замок Плесси, затем обсаженные прелестными виноградниками холмы, тянущиеся от Вувре до Сен-Семфорьяна. До самого горизонта простираются тучные нивы Шера, парки и замки на фоне голубеющего неба. Огромная река, огибающая холмы, течет на запад, по ней день и ночь снуют корабли под белыми парусами, в которые дуют ветры, почти всегда царящие на этом обширном водном пространстве. Какой-нибудь князь мог бы избрать Гранатник своей виллой, но еще охотнее здесь поселился бы поэт; в этой усадьбе нашли бы желанный приют и влюбленная пара, и семейство добропорядочного турецкого буржуа; Гранатник не оставляет равнодушным ни одно существо, от самых робких и холодных до самых возвышенных и страстных: всякий, кому случается побывать в этом уголке, ощущает прилив счастья, постигает прелесть тихой жизни, чуждой тщеславия и суеты. Здешний воздух и рокот волн навевают грезы; песчаные берега, где золотистые, где тусклые, кажется, наделены даром речи, их говор, то веселый, то грустный, не смолкает ни на минуту; владелец этого виноградника наслаждается покоем среди многолетних цветов и аппетитных плодов, меж тем как все вокруг него находится в движении. Англичанин платит тысячу франков за возможность провести полгода в этом скромном домишке, причем, если он желает

лакомиться фруктами из сада, ему придется отдать вдвое больше, если же он любит вино, удовольствие обойдется ему еще в два раза дороже. Сколько же стоит Гранатник со своей лестницей, тропинкой среди камней, тремя террасами, виноградником площадью в два арпана, увитыми шиповником балюстрадами, старым крыльцом, насосом, растрепанными ломоносами и деревьями — выходцами из самых разных стран? Бесполезно предлагать свою цену. Гранатник не продается. Купленный однажды в 1690 году у прежнего владельца, который скрепя сердце отдал усадьбу за сорок тысяч франков, как араб бросает посреди пустыни любимого коня, он с тех пор принадлежал членам одного рода и сделался его гордостью, фамильной драгоценностью, бесценным сокровищем. Видеть — значит обладать, сказал поэт. С террасы, на которой стоит Гранатник, вы видите три туренские долины и собор, парящий в воздухе, словно филигранное изделие ювелира. Разве можно купить за деньги все эти красоты? Разве можно купить за деньги здоровье, которое возвращается к вам под здешними липами?

Реставрация вступила в пору своего расцвета, когда весенним днем некая дама в сопровождении служанки и двух мальчиков, младшему из которых было на вид лет восемь, а старшему — лет тринадцать, приехала в Тур, дабы поселиться в этих краях. Гранатник приглянулся ей, и она наняла его. Быть может, больше всего ее привлекла удаленность дома от города. Гостиную она превратила в свою спальню, сыновей поселила в двух комнатах второго этажа, а прислуга обосновалась в комнатке над кухней. Столовая сделалась для маленькой семьи гостиной. Незнакомка обставила дом просто, но с большим вкусом: здесь не было ни одной роскошной вещи, но не было и ни одной бесполезной. Она выбрала мебель орехового дерева, без всяких украшений. Вся прелесть жилища составили его чистота и согласие между внешним видом дома и его внутренним убранством.

Было нелегко понять, принадлежит ли госпожа Виллемсанс (этим именем назвалась чужестранка) к богатой буржуазии, знатному дворянскому роду или же к сословию, включающему дам сомнительного поведения. Скрытность ее позволяла строить самые разные предположения, манеры же подтверждали самые лестные из них. Неудивительно, что приезд таинственной незнакомки разжег любопытство сен-сирских бездельников, пользовавшихся любой возможностью скрасить однообразное провинциальное существование.

Госпожа Виллемсанс была женщина довольно высокого роста, худощавая и изможденная, но сложенная весьма изящно. У нее были прелестные ножки, замечательные не столько своей миниатюрностью — достоинство, ценимое толпой, — сколько безупречной формой; затянутые в перчатки руки также казались красивыми. По бледному лицу, некогда свежему и чистому, были рассыпаны красные пятна. Ранние морщины прорезали изящный лоб, увенчанный копной каштановых волос, которые всегда были заплетены в две косы и уложены вокруг головы — девичья прическа, шедшая к ее меланхолическому лицу. Черные, глубоко посаженные и обведенные кругами глаза, в которых горел лихорадочный огонь, были исполнены обманчивого спокойствия; однако стоило ей забыть, как в них выражалась тайная тревога. Овальное лицо было длинновато, но в прежние времена здоровье и счастье скрашивали этот недостаток. На бледных губах обычно бродила деланная улыбка, исполненная тихой печали; однако стоило детям, с которыми она ни на минуту не разлучалась, взглянуть на нее или задать ей один из тех бесконечных праздных вопросов, что всегда полны для матери глубокого смысла, как лицо ее озарялось радостной улыбкой. Поступь ее была неспешна и величава. Однообразие ее наряда обличало решительное нежелание заботиться о своей наружности и намерение позабыть свет, который, как она надеялась, уже забыл ее. Она носила длинное черное платье, перетянутое в талии муаровой лентой, а поверх него вместо шали батистовую косынку с широкой каймой, концы которой были небрежно заткнуты за пояс. Обувь она выбирала с тщанием, выдававшим былое стремление к элегантности, однако всякому, кто с ней встречался, казалось, что она в трауре, и серые шелковые чулки лишь довершали это впечатление. Серого цвета была и ее

неизменная английская шляпа с черной вуалью. Казалось, она чрезвычайно слаба и тяжело больна. Из дому она выходила лишь погожими вечерами, чтобы пройтись с детьми до Турского моста, подышать свежим речным воздухом и полюбоваться зрелищем заходящего солнца, последние лучи которого освещают водную гладь, не уступающую своей ширью Неаполитанскому заливу или Женевскому озеру. За все время, что она жила в Гранатнике, она лишь дважды посетила Тур: в первый раз — чтобы повидать ректора местного коллежа и попросить его указать ей лучших преподавателей латыни, математики и рисования, а во второй раз — чтобы уговориться с рекомендованными ей лицами о расписании уроков и плате за них. Но и вечерних прогулок к мосту, которые она совершала один-два раза в неделю, было довольно, чтобы вызвать любопытство у большинства обитателей города, также любивших гулять по берегу Луары. Тем не менее, несмотря на своего рода невинное шпионство, на которое обычно подвигают провинциальных жителей безделье и неумное любопытство, никто не смог получить никаких достоверных сведений ни о положении, какое занимала некогда незнакомка в свете, ни о ее состоянии, ни даже о ее происхождении. Впрочем, владелец Гранатника открыл иным из своих друзей имя, которым незнакомка подписала контракт о найме поместья и которое, без сомнения, было ее подлинным именем. Ее звали Августа Виллемсанс, графиня Брендон. Последнее имя, должно быть, принадлежало ее мужу. Дальнейшие события подтвердили правильность этого предположения, ставшего, впрочем, известным лишь торговцам, водившим знакомство с владельцем Гранатника. Таким образом, госпожа Виллемсанс оставалась неразрешимой загадкой для добропорядочных соседей, которые видели лишь то, чего она не скрывала: утонченную натуру, простое, чарующе естественное обхождение и ангельски нежный голос. Ее постоянное одиночество, меланхолия и следы былой красоты были столь пленительны, что вскружили голову нескольким юношам; однако чувство их было столь же искренним, сколь и робким; вдобавок госпожа Виллемсанс держалась так величественно, что не всякий решился бы заговорить с ней. А послания тех дерзких поклонников, что осмелились ей написать, были, должно быть, брошены в камин нераспечатанными. Госпожа Виллемсанс сжигала все письма, которые получала, словно хотела, чтобы ничто не омрачало ее пребывания в Турени. Казалось, она поселилась в прелестном уголке, дабы сполна насладиться жизнью. Три учителя, допущенных в Гранатник, говорили о трогательной картине, какую представлял собой безоблачный и задушевный союз этой женщины и ее детей, с благоговейным восторгом.

Дети госпожи Виллемсанс также привлекали к себе всеобщее внимание, и ни одна мать не могла смотреть на них без зависти. Мальчики так походили на госпожу Виллемсанс, что было сразу понятно: это ее сыновья. У обоих были нежная кожа и яркий румянец, ясные блестящие глаза, длинные ресницы, чистый очерк лица — все, что так украшает детей. У старшего, Луи-Гастона, были темные волосы и смелый взгляд. Весь облик его говорил о недюжинном здоровье, а высокий, в меру выпуклый лоб выдавал энергичский характер. Луи-Гастон был проворен, ловок, хорошо сложен, чужд всякой манерности, ничему не удивлялся и, казалось, тщательно обдумывал все, что видел. Младший, Мари-Гастон, был почти белокур, хотя у него, как и у матери, встречались пепельные пряди. Он унаследовал хрупкость телосложения, тонкость черт и изящество движений госпожи Виллемсанс, придававшие ей столько очарования. Он выглядел болезненным: серые глаза на бледном лице смотрели кротко. В нем было что-то женственное. Мать одевала его в рубашку с кружевным воротничком и курточку с обшитыми шнуром петлицами; сообщая мальчику неизъяснимую прелесть, костюм этот, вкуче с длинными вьющимися волосами, выдавал чисто женскую любовь к нарядам, быть может, равно присущую и сыну и матери. Этот щегольской наряд особенно выделялся рядом с простенькой курткой и скромной рубашкой с отложным воротничком старшего мальчика. Панталоны, башмаки, цвет платья у обоих мальчиков были одинаковые и вслед за сходством лиц подтверждали их родство. Всякого, кто видел их вместе, трогала заботливость, с какой Луи относился к Мари. Во взглядах, которые старший брат бросал на младшего, было нечто отеческое; со своей стороны Мари, несмотря на беспечность, обычную в его лета, отвечал, казалось, брату глубокой признательностью: дети

были подобны двум только что распустившимся цветкам, колеблемым одним и тем же ветерком, освещаемым одними и теми же солнечными лучами; вся разница была в том, что один цветок раскрылся до конца, а другой — лишь наполовину. Одного слова, одного взгляда, одной ноты в голосе матери было довольно, чтобы они бросили свои занятия, повернули голову, прислушались, усвоили приказание, просьбу, совет и повиновались. Они так легко постигали желания и волю госпожи Виллемсанс, словно читали ее мысли. Когда на прогулке дети бежали впереди матери, резвились, рвали цветы, рассматривали насекомых, она следила за ними с таким умилением, что самый черствый прохожий, тронутый этим зрелищем, останавливался, чтобы улыбнуться детям и приветливо кивнуть их матери. Кто мог остаться равнодушным, слыша мелодичные голоса мальчиков, видя их безупречно опрятную одежду, грациозные движения, счастливые лица и безотчетное благородство манер — плод воспитания, полученного с самого раннего детства! Казалось, эти дети никогда в жизни не кричали и не плакали. Мгновенно угадывая все их желания и печали, мать спешила исполнить первые и утолить вторые. Казалось, малейшее их огорчение страшило ее больше адских мук. В обоих мальчиках все было похвалой их матери, эти трое составляли единое существо, чей вид рождал смутное ощущение неги и счастья, какое пробуждают в нас грезы о лучшем мире. Изнутри жизнь этого семейства была так же гармонична, как и на взгляд стороннего наблюдателя: то была жизнь упорядоченная, размеренная и простая, лучше всего подходящая для воспитания детей. Мальчики поднимались через час после рассвета и читали короткую молитву, правдивые слова которой первые семь лет жизни произносили вместе с матерью, начиная и кончая их поцелуями. Затем оба брата, приученные блюсти чистоту тела, ибо телесная чистота — залог чистоты душевной, принимались за свой туалет и занимались им с тщанием, достойным хорошенькой женщины. Они не упускали ни одной мелочи, ибо пуще всего боялись материнского упрека, как бы ласково он ни был произнесен, боялись, например, что, обнимая их перед завтраком, мать скажет: «Милые мои, с каких же это пор у вас такая грязь под ногтями?» Окончив свой туалет, мальчики выходили в сад и развеивали там, среди росы и утренней свежести, остатки сна; тем временем служанка убирала гостиную, и они садились там за уроки, которые учили до пробуждения госпожи Виллемсанс. Мальчикам не дозволялось входить в ее спальню раньше положенного времени — с тем большим нетерпением поджидали они той минуты, когда она проснется. Эта утренняя встреча, неизменно нарушавшая условленный распорядок, всегда доставляла огромное наслаждение и детям и матери. Мари вспрыгивал на кровать, чтобы обнять предмет своего поклонения, а Луи, опустившись на колени у изголовья, брал мать за руку. Тут наступал черед взволнованных расспросов, какими мог бы засыпать влюбленный свою избранницу, черед ангельского смеха и ласк, страстных и невинных разом, черед красноречивых пауз, сбивчивых рассказов, ребяческих историй, прерываемых поцелуями, выслушиваемых внимательно, но редко доводимых до конца...

«Вы потрудились на совесть?» — спрашивала госпожа Виллемсанс нежным и дружеским тоном, готовая огорчиться до глубины души из-за проделок лентяя и пролить слезы умиления над успехами прилежного ученика. Она знала, что мальчиками движет желание порадовать ее; они знали, что мать живет только ради них, ведет их по жизни со всей мудростью любви и посвящает им все свои помыслы и все свое время. Чудесное чувство — не себялюбие и не рассудок, но, быть может, любовь в ее самой простодушной форме подсказывает детям, рады ли родители посвятить им всю свою жизнь без остатка. Любите вы детей? Если да, то эти прелестные создания, бесхитростные и справедливые, отвечают вам пленительной взаимностью. Они любят вас страстно, ревниво, осыпают самыми очаровательными ласками, шепчут самые нежные слова; они открывают вам все свои тайны, верят каждому вашему слову. Поэтому плохих детей, наверно, не бывает — бывают лишь плохие матери; ведь чувства детей зависят от тех чувств, предметом которых с младенчества были они сами, от забот, которыми их окружали, от первых слов, какие они слышали, от первых взглядов, в которых черпали любовь и жизнь. В эти первые годы решается, кем станут родители для ребенка — друзьями или врагами. Господь поместил детей в материнское лоно, дабы мать поняла, что им следует оставаться подле нее как можно дольше. Однако бывают на свете

матери, которых не ценят, бывает великая и нежная любовь, постоянно попираемая: столь черная неблагодарность доказывает, как трудно вывести абсолютные законы, когда речь идет о чувстве. Что же до госпожи Виллемсанс, ее сердце было связано с сердцами обоих ее сыновей всеми узами, какими только могут быть связаны родственные сердца. Одинокие на этой земле, мать и дети были неразлучны и жили душа в душу. Если с утра госпожа Виллемсанс хранила молчание, Луи и Мари затихали, уважая задумчивость матери, пусть даже мысли ее были им неведомы. Однако старший мальчик, умный и наблюдательный, никогда не удовлетворялся заверениями матери в том, что она прекрасно себя чувствует: видя лиловые круги под ее запавшими глазами и красные пятна на щеках, он вглядывался в дорогие черты с сумрачной тревогой, не сознавая, но предчувствуя опасность. Исполненный истинной чувствительности, он угадывал мгновение, когда игры Мари начинали утомлять ее, и вовремя говорил брату: «Пойдем за стол, Мари, я проголодался».

Однако с порога он оборачивался, чтобы бросить последний взгляд на мать, и та находила в себе силы улыбнуться; нередко, когда какое-нибудь движение сына выдавало ей его исключительную чуткость и до времени развившуюся способность к состраданию, на глазах ее выступали слезы.

Пока дети завтракали и резвились, госпожа Виллемсанс занималась своим туалетом; ради детей она становилась кокеткой, хотела нравиться и во всем угождать им, радовать их взор, уподобиться нежному благоуханию, которое хочется вдыхать вечно. Она всегда бывала одета и причесана в десять часов, когда начинались уроки, продолжавшиеся до трех часов и прерываемые лишь на время второго завтрака, который обычно подавался в полдень в садовой беседке. После еды дети целый час играли в саду, а счастливая мать и несчастная женщина, лежа на стоящем в беседке диване, любовалась непостоянным туренским пейзажем, вечно юным благодаря смене погоды, облаков на небе и времен года. Дети перелезали через ограду, взбирались на террасы, гонялись за ящерицами, сами гибкие и ловкие как ящерицы; они любовались ростками и цветами, рассматривали бабочек и жуков, без конца бегая к матери в беседку, чтобы расспросить ее обо всем увиденном. В деревне детям не нужны игрушки, здесь все кругом служит им забавой. Госпожа Виллемсанс присутствовала на уроках сыновей. Она молча занималась рукоделем, не глядя ни на учителей, ни на детей, и внимательно вслушивалась в смысл их речей, пытаясь понять хотя бы приблизительно, насколько хорошо идут дела у Луи: если он ставил учителя в тупик каким-нибудь вопросом, обличавшим его недюжинные познания, глаза матери загорались, она улыбалась и глядела на старшего сына с надеждой. От младшего она не требовала таких успехов. Все свои надежды она возлагала на старшего, к которому питала своего рода почтение, и употребляла весь свой женский и материнский такт для того, чтобы привить ему возвышенные понятия и уважение к самому себе. В ее поведении был тайный расчет, который ребенку предстояло постичь со временем и который он в самом деле постиг. После каждого урока она провожала учителя до ворот и подробно расспрашивала об успехах Луи. Она держалась так мягко и дружелюбно, что учителя говорили ей всю правду, дабы она могла помочь мальчику справиться с трудностями. Наступало время обеда, потом дети играли и гуляли; наконец, вечером они готовили уроки. Так текла жизнь маленького семейства, однообразная, но наполненная, жизнь, в которой труды чередовались с развлечениями и в которой не было места скуке, унынию и ссорам. Безграничная материнская любовь делала невозможное возможным. Мальчики выросли скромными, хотя мать ни в чем им не отказывала, храбрыми, потому что она хвалила их за каждый отважный поступок, покорными судьбе, ибо мать объяснила им, что такое необходимость и в каких формах она проявляется; словно добрая фея, она развивала и укрепляла их ангельскую натуру. Глядя на игры детей, она вспоминала порой, что они ни разу не доставили ей ни малейшего огорчения, и на ее горящие глаза наворачивались слезы. Долговечное и безоблачное счастье оттого исторгает у нас подобные слезы, что являет нам теплящийся в глубинах любой души образ неба. Госпожа Виллемсанс проводила восхитительные часы, лежа в беседке, любуясь погожим днем, водной гладью, живописным пейзажем и

вслушиваясь в голоса детей, в их неумолчный смех и мелкие ссоры, лишь подчеркивавшие их нерушимую дружбу, отеческую заботу старшего о младшем и любовь обоих к ней, матери. Оба мальчика, за которыми в раннем детстве ходила английская бонна, одинаково свободно говорили по-французски и по-английски, поэтому мать обращалась к ним то на одном, то на другом языке. Она превосходно пестовала сыновей, не позволяя ни одной ложной идее проникнуть в их девственные умы, ни одному дурному побуждению прокрасться в их юные души. Она наставляла детей, ничего от них не скрывая и все им объясняя. Если Луи спрашивал, что ему читать, она называла ему книги занимательные, но правдивые. То были жизнеописания прославленных мореходов, биографии великих людей, знаменитых полководцев, и каждая мелочь в этих книгах служила ей для того, чтобы загодя объяснить мальчику, как устроен мир; особенное внимание уделяла она людям даровитым, но неизвестным, выходцам из самых низких сословий, которые, не имея высоких покровителей, добивались известности и признания. Эти уроки, ничуть не менее полезные, чем прочие, преподавались по вечерам, когда малыш Мари засыпал на коленях у матери, когда на Турень опускалась прекрасная тихая ночь, а в водах Луары отражались звезды; однако все это лишь усугубляло грусть госпожи Виллемсанс, и под конец она всегда замолкала и глаза ее наполнялись слезами.

— Матушка, отчего вы плачете? — спросил ее однажды Луи; стоял погожий вечер; ясный день угас и сменился мягким сумраком.

— Сын мой, — отвечала она, обнимая за шею мальчика, чья тайная тревога живо тронула ее, — я плачу оттого, что обрекла тебя и твоего брата на нищенское существование Жамере-Дюваля[2], начавшего жизнь бедняком и принужденного идти по жизни без всякой поддержки. Скоро, дорогое мое дитя, вы останетесь на земле одни-одинешеньки, без опоры, без покровительства. Вы осиротеете в совсем юном возрасте, а мне так хотелось, чтобы ты еще при моей жизни стал сильным и образованным и мог наставлять и опекать брата. Но я не доживу до этого. Я слишком люблю вас, чтобы не оплакивать вашу участь. Дорогие дети, лишь бы не наступил такой день, когда вы проклянете меня...

— Но за что же мне проклинать вас, матушка?

— Однажды, бедный мой малыш, — отвечала она, опуская голову, — ты поймешь, как я виновата перед вами. Я оставлю вас здесь без состояния, без... — Она запнулась. — Без отца[3].

При этих словах она разрыдалась и мягко отстранила сына, который чутьем понял, что матери нужно побыть одной, и ушел, уводя с собой полусонного брата. Час спустя, когда Мари уже лежал в постели, Луи осторожно подошел к беседке, где оставил мать. Оттуда раздались сладостные для его слуха слова: «Это ты, Луи? Входи».

Мальчик бросился к матери и они сжали друг друга в почти судорожных объятиях.

— Дорогая моя, — произнес наконец мальчик, который часто звал ее так; впрочем, самые нежные слова казались ему недостаточными для выражения его любви к ней, — дорогая моя, почему ты так часто говоришь о смерти?

— Я больна, ангел мой, бедное мое дитя, и с каждым днем чувствую себя все хуже; недуг мой неизлечим, и я это знаю.

— Что же это за болезнь?

— Мне лучше забыть ее название, а тебе — не знать причины моей смерти.

Несколько мгновений мальчик молчал, украдкой бросая взгляды на мать, которая, подняв глаза к небу, следила за бегом облаков. Какая трогательная и грустная сцена! Луи не верил в

близкую смерть матери, но безотчетно предчувствовал беду. Он боялся нарушить глубокие раздумья, в которые погрузилась его матушка. Не будь он так юн, он разглядел бы на ее вдохновенном челе следы раскаяния вперемешку со счастливыми воспоминаниями, прочел бы в ее чертах всю жизнь женщины: беззаботное детство, брак без любви, неодолимое чувство, цветы, возвращенные бурей и погубленные молнией, низвергнутые в бездну, откуда нет возврата.

— Матушка, любимая, — сказал наконец Луи, — зачем вы скрываете от меня ваши страдания?

— Сын мой, — отвечала госпожа Виллемсанс, — мы должны таить наши тяготы от посторонних глаз, появляться на людях с радостной улыбкой, говорить не о своих, а о чужих заботах: верность этим правилам — залог счастья. Однажды тебе придется узнать, что такое страдание! Вспомни тогда, что твоя несчастная мать умирала на твоих глазах, улыбаясь и пряча от тебя свою боль; это поможет тебе стойко перенести жизненные невзгоды.

Глотая слезы, она постаралась объяснить сыну, как устроен мир, откуда берутся и как складываются состояния, какие узы связуют людей в обществе, как можно честным путем накопить деньги, необходимые для безбедного существования, и как важно для этого получить образование. Затем она открыла ему одну из причин своей постоянной грусти и слез; после ее смерти, сказала она, он и Мари останутся совсем без средств, в их распоряжении будет лишь самая ничтожная сумма, и уповать им придется только на Бога.

— Значит, мне нужно выучиться побыстрее! — воскликнул мальчик, бросив на мать жалобный и проникновенный взгляд.

— О, как я счастлива! — отвечала она, покрывая лицо сына поцелуями и орошая его слезами. — Он понимает меня! — Луи, — добавила она, — обещаю тебе, что станешь опекуном брата. Ты ведь уже не маленький!

— Да, — сказал мальчик, — но ведь вы умрете еще не скоро, правда?

— Бедные вы мои! — отвечала она. — Мне дает силы жить только любовь к вам. А потом, этот край так прекрасен, воздух здесь так целителен, что как знать...

— После ваших слов я буду еще сильнее любить Турень, — отвечал мальчик взволнованно.

С того дня, когда госпожа Виллемсанс, предвидя близкую кончину, открыла старшему сыну его будущее, Луи, которому шел четырнадцатый год, стал менее рассеян, более прилежен и утратил прежнюю любовь к играм. Быть может, он сумел уговорить и младшего брата побольше читать и поменьше шуметь — во всяком случае, мальчики теперь реже носились по дорожкам, по саду и крутому берегу Луары. Теперь времяпрепровождение детей больше отвечало меланхолическим раздумьям их матери, чье лицо день ото дня бледнело и начинало отливать желтизной, а морщины с каждой ночью пролегли все глубже.

В августе, через пять месяцев после приезда маленького семейства в Гранатник, все здесь переменялось. Старая служанка, видя, как медленно, но верно угасает ее госпожа, поддерживаемая лишь силой души и безмерной любовью к детям, сделалась сумрачна и печальна: казалось, она предвидит близкую смерть хозяйки. Часто, когда госпожа Виллемсанс, все еще красивая, кокетливая, как никогда, нарядив свое увядающее тело и освежив щеки румянами, прогуливалась в сопровождении сыновей по верхней террасе, старая Аннета забывала о делах, застывала с бельем в руках и, просунув голову между двумя кустами можжевельника, растущими подле насоса, со слезами на глазах глядела вслед своей госпоже, все меньше и меньше походившей на ту пленительную особу, какой она была когда-то.

Прелестный домик, поначалу столь веселый и оживленный, погрузился; здесь воцарилась тишина, обитатели усадьбы редко выходили за ворота, ибо прогулка до Турского моста стоила теперь госпоже Виллемсанс больших усилий. Луи, в котором внезапно проснулось воображение и который, можно сказать, отождествил себя с матерью, понял, сколько усталости и боли скрывается под румянами, и всякий раз изобретал новую причину, чтобы не ходить так далеко. В эту пору веселые парочки или компании, отправлявшиеся вечерами на прогулку в Сен-Сир — турецкий Куртиль в миниатюре, — видели, как бледная, изможденная женщина в трауре, стоящая одной ногой в могиле, но все еще блистающая красотой, словно привидение бродит по кромке верхней террасы. Великие страдания трудно скрыть. Поэтому обитатели Гранатника чуждались людей. Иной раз фермер с женой и двумя детьми показывались на пороге своей хижины; Аннета стирала белье у колодца; госпожа Виллемсанс с сыновьями отдыхала в беседке, но в саду стояла мертвая тишина и все украдкой бросали на большую участливые взгляды. Она была так добра, так предупредительна, так церемонна со всеми, кто имел с ней дело! Что же до нее, этой матери, снедаемой неведомым недугом, чью жизнь, казалось, продлевала великолепная туренская осень с ее благословенными красотами, с ее виноградом и фруктами, она не видела ничего, кроме своих детей, и наслаждалась их обществом так, словно каждый час ее жизни мог оказаться последним.

С июня до конца сентября Луи, тайком от матери, много занимался по ночам и сделал большие успехи; в алгебре он дошел до уравнений второй степени, изучил начертательную геометрию, прекрасно освоил рисунок — одним словом, он мог бы блестяще выдержать экзамен в Политехническую школу. Вечерами он иногда гулял подле Турского моста и свел там знакомство с отставным капитан-лейтенантом; мужественный вид, выправка и ордена этого моряка времен Империи произвели на него сильное впечатление. Со своей стороны моряк проникся дружеским расположением к юноше, в чьих глазах горела жажда деятельности. Луи, бредивший воинскими подвигами и мечтавший расширить свой кругозор, бросал якорь подле моряка и заслушивался его рассказами. Отставной капитан водил дружбу с пехотным полковником, также уволенным из армии; юный Гастон получил таким образом возможность узнать в подробностях жизнь военных на суше и на море. При каждой встрече он засыпал обоих отставников вопросами. Выяснив, какие тяготы ожидают его на суровом воинском поприще, он попросил у матери позволения отправиться в путешествие по окрестностям. Поскольку удивленные учителя говорили госпоже Виллемсанс, что сын ее слишком много времени посвящает занятиям, она с бесконечной радостью отпускала его развеяться всякий раз, как он об этом просил. Итак, Луи стал совершать далекие походы. Желая закалить себя, он с невероятной ловкостью взбирался на самые высокие деревья; он научился плавать и проводить ночи без сна. Он повзрослел и превратился из мальчика в юношу, чье бронзовое от загара лицо носило печать недюжинного ума.

Наступил октябрь; госпожа Виллемсанс вставала теперь не раньше полудня, когда солнечные лучи, отражаясь от водной глади и прогревая террасы, превращали Гранатник в подобие берегов Неаполитанского залива, чей благодатный климат так высоко ценят врачи. Тогда она усаживалась где-нибудь под деревом; сыновья не отходили от нее. Уроки прекратились, учителям дали расчет. Дети и мать хотели жить без забот и развлечений, слившись в единое целое. В саду и в доме уже не раздавались ни плач, ни крики радости. Старший мальчик, лежа на траве подле матери, не сводил с нее глаз и целовал ей ноги, словно любовник. Младшему не сиделось на месте, он рвал цветы, с грустным видом приносил ей и поднимался на цыпочки, чтобы получить в награду целомудренный поцелуй. Эта женщина с бескровным лицом и большими черными глазами, которая совсем обессилела и с трудом передвигала ноги, но ни на что не жаловалась и улыбалась своим крепким, пышущим здоровьем детям, представляла собой величественное зрелище, достойным фоном которому служила меланхолическая роскошь осеннего пейзажа: желтые листья, полуоблетевшие деревья, мягкий свет солнца и белые облака в небе Турени.

Наконец врач запретил госпоже Виллемсанс выходить в сад. Дети каждое утро украшали

спальню матери ее любимыми цветами и находились при ней неотлучно. В начале ноября она в последний раз села за пианино. Над ним висел швейцарский пейзаж. У окна, прижавшись друг к другу стояли мальчики. Больная переводила глаза с картины на сыновей и с сыновей на картину. На щеках ее выступил румянец, пальцы вдохновенно летали по клавишам. То был ее последний праздник — никому неведомый, справляемый в недрах ее души гением воспоминаний. Тут появился врач и запретил ей вставать с постели. Мать и сыновья выслушали этот суровый приговор, не в силах до конца постичь его смысл.

Когда врач ушел, больная сказала: «Луи, отведи меня на террасу, я хочу еще раз взглянуть на наш край».

В ответ на эту простую просьбу мальчик подал матери руку и проводил ее на середину террасы. Там она, быть может, безотчетно, чаще устремляла взор на небо, чем на землю; впрочем, трудно было сказать, какой пейзаж был в ту минуту прекраснее, ибо облака смутно напоминали величественные альпийские ледники. Внезапно лицо больной омрачилось, в глазах появилось выражение муки и раскаяния, она схватила детей за руки и, прижав их ладони к своему неистово колотящемуся сердцу, воскликнула: «Отец и мать неизвестны!» Бедные мои ангелочки! Что с вами станет? Как сурово спросите вы с меня в двадцать лет за мою жизнь и за вашу?!»

С этими словами она проникновенно взглянула на детей, потом отстранилась, оперлась локтями о балюстраду, закрыла лицо руками и несколько мгновений стояла так, погруженная в свои мысли, не смея поднять глаза. Когда она очнулась от подступившей боли, она увидела, что Луи и Мари, словно два ангела, стоят возле нее на коленях; они ловили ее взгляд и, когда она наконец подняла голову, нежно улыбнулись ей.

— Отчего я не могу унести с собой эту улыбку! — сказала она утирая слезы.

Она вернулась домой и слегла; ей суждено было покинуть этот дом уже в гробу.

Прошла неделя, ничем не отличавшаяся от всех предшествующих. Старая Аннета и Луи поочередно дежурили ночами у постели госпожи Виллемсанс, не сводя глаз с больной. Каждую минуту здесь разыгрывалась невыносимая драма, которая разыгрывается во всех семействах, где горячо любимое существо страждет и каждый его стон или вздох может оказаться последним. На пятый день этой роковой недели врач велел унести из комнаты цветы. Иллюзии жизни таяли одна за другой.

С этого дня, касаясь губами лба матери, Мари и Луи чувствовали обжигающий жар. Наконец в субботу вечером пришлось оставить комнату неубранной — всякий шум был госпоже Виллемсанс в тягость. Беспорядок в спальне знаменовал начало агонии этой изящной, обожающей все элегантно женщины. Луи ни на минуту не отходил от матери. В ночь на воскресенье он сидел у ее изголовья при свете лампы; ничто не нарушало тишину, и Луи решил, что мать спит; однако внезапно белая, влажная рука отодвинула полог.

— Сын мой, — позвала умирающая.

В звуках ее голоса было столько величия, что этот зов, исходивший из глубин беспокойной души, потряс мальчика и до мозга костей обдал его жаром.

— Что вам угодно, матушка?

— Послушай. Завтра для меня все будет кончено. Мы больше не увидимся. Завтра, мой мальчик, ты станешь взрослым. Поэтому я обязана сделать несколько распоряжений, о которых никто не должен знать, кроме нас с тобой. Возьми ключ от моего столика. Прекрасно! Открой ящик. Слева лежат два запечатанных конверта. На одном написано: «Луи», на другом — «Мари»

— Вот они, матушка.

— Мальчик мой, это свидетельства о вашем рождении; они вам понадобятся. Отдай их на хранение бедной старой Аннете; в нужный час она вернет их вам.

— Теперь взгляни, — продолжала она, — лежит ли в том же ящике листок, на котором моей рукой написаны несколько строк?

— Да, матушка.

И Луи начал читать: «Мари Виллемсанс, родившаяся в...»

— Довольно, — прервала она. — Не продолжай. Когда меня не станет, сынок, отдай и эту бумагу Аннете; пусть она отнесет ее в Сен-Сирскую мэрию, чтобы там составили свидетельство о моей смерти. Теперь возьми перо и чернила; я продиктую тебе одно письмо.

Когда мальчик приготовился писать и вопросительно взглянул на нее, она ровным голосом произнесла: «Господин граф, ваша супруга леди Брендон умерла в Сен-Сире, близ Тура, в департаменте Эндра-и-Луара. Она вам простила».

— Поставь подпись... — Она запнулась и заметалась в нерешительности.

— Вам плохо? — спросил Луи.

— Поставь подпись: Луи-Гастон!

Она вздохнула, затем продолжала: «Запечатай письмо и напиши адрес: «Лорду Брендону. Брендон-Сквер. Гайд-парк, Лондон, Англия».

— Хорошо, — добавила она. — В день моей смерти ты отправишь это письмо из Тура.

— Теперь, — произнесла она, помолчав, — возьми маленький кошелек, который ты много раз видел, и подойди поближе, дорогой мой мальчик.

— Здесь, — объяснила она, когда Луи снова занял свое место подле ее постели, — двенадцать тысяч франков. Они принадлежат вам по закону. Вы могли бы оказаться много богаче, если бы ваш отец...

— Отец, — вскрикнул мальчик, — где он?

— Он умер, — отвечала госпожа Виллемсанс, приложив палец к губам, — умер, чтобы спасти мою жизнь и честь.

Она подняла глаза к небу. Она заплакала бы, если бы у нее еще остались силы плакать от боли.

— Луи, — продолжала она, — поклянись мне здесь, у моего смертного одра, забыть о том, что я тебе продиктовала и рассказала.

— Клянусь, матушка...

— Поцелуй меня, мой ангел.

Она надолго замолчала, словно для того, чтобы попросить у Бога мужества и собрать последние силы.

— Послушай, — произнесла она наконец. — Эти двенадцать тысяч — все ваше состояние; тебе нужно хранить их при себе, потому что после моей смерти сюда явятся судебные

исполнители и опишут все имущество. Ничто здесь не будет принадлежать вам, даже ваша мать! И вам, несчастным сиротам, придется искать другое пристанище, но где — это ведомо одному Богу. Об Аннете я позаботилась. Она будет получать по сто экю в год и, наверно, останется в Туре. Но куда податься тебе и брату?

Она села на постели и взглянула на отважного мальчика, который стоял перед ней бледный от волнения, с заплаканными глазами и покрытым испариной лбом.

— Матушка, — отвечал Луи глухо, — я об этом уже думал. Я отвезу Мари в турецкий коллеж. Я отдам десять тысяч франков старой Аннете и накажу ей бережно хранить их и присматривать за братом. Оставшиеся деньги я потрачу на дорогу до Бреста, а там наймусь юнгой на какой-нибудь корабль. Пока Мари будет учиться в коллеже, я стану капитаном корабля. Ты можешь умереть спокойно: я разбогатею, и наш малыш сможет поступить в Политехническую школу либо избрать любое другое поприще.

Радость блеснула в полупотухших глазах матери, две слезинки скатились по пылающим щекам; затем у нее сорвался глубокий вздох и она едва не рассталась с жизнью от радости, ибо в сыне, внезапно ставшем взрослым, она узнала душу его отца.

— Ангел мой, — сказала она плача, — одним словом ты развеял все мои тревоги. О, теперь я могу терпеть боль. Это мой сын, и я воспитала его настоящим мужчиной!

Не в силах сдержать охватившей ее безграничной радости, она молитвенно сложила руки и тут же откинулась на подушки.

— Как вы побледнели, матушка! — воскликнул Луи.

— Пошли за священником, — отвечала умирающая.

Луи разбудил старую Аннету, и она, не помня себя от страха, бросилась к сен-сирскому кюре.

На заре госпожа Виллемсанс соборовалась при самых трогательных обстоятельствах. Оба мальчика, Аннета и семья фермера — простые крестьяне, полюбившие несчастную женщину и ее детей, как родных, — стояли на коленях вокруг постели. Перед серебряным крестом, который держал смиренный певчий — сельский певчий! — старый священник причастил ее. Причастие! — величественное слово, выражающее еще более величественную идею, ведомую одной лишь римско-католической церкви.

— Эта женщина много страдала, — вот и все, что сказал кюре.

Мари Виллемсанс уже ничего не слышала, но глаза ее по-прежнему были устремлены на сыновей. Все, кто присутствовали при этой сцене, объятые ужасом, в глубоком молчании прислушивались к затихающему дыханию обреченной женщины. Время от времени глубокий вздох выдавал, что жизнь в ней еще борется со смертью. Наконец несчастная мать испустила дух. Все кругом разрыдались, кроме Мари. Бедный ребенок был еще слишком мал, чтобы постичь, что такое смерть. Аннета и фермерша закрыли глаза пленительному созданию, к которому внезапно возвратилась былая красота. Они отослали мужчин, вынесли мебель из спальни, одели покойницу в саван, уложили ее, зажгли вокруг постели свечи, по местному обычаю поставили рядом кропильницу, веточки самшита и распятие, затворили ставни и задернули окна шторами; позже пришел викарий, который всю ночь читал молитвы над телом покойной вместе с Луи, не захотевшим покинуть мать. Похороны состоялись во вторник утром. За гробом женщины, чей ум, красота и изящество снискали европейскую славу и чьи похороны стали бы в Лондоне некоей аристократической церемонией, событием столь важным, что ни одна газета не прошла бы мимо него, не соверши эта женщина невиннейшее из преступлений, преступление, возмездие за которое грешники претерпевают на земле, дабы души их прощенными отправились на небо, — за гробом этой женщины шли только

старая служанка, двое детей да фермерша. Когда на гроб упали комья земли, Мари заплакал, поняв, что больше никогда не увидит мать.

Сен-сирский кюре написал на простом деревянном кресте, установленном на ее могиле, следующие слова:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ

НЕСЧАСТНАЯ ЖЕНЩИНА,

УМЕРШАЯ 36 ЛЕТ ОТ РОДУ.

НА НЕБЕСАХ ИМЯ ЕЙ — АВГУСТА.

МОЛИТЕСЬ ЗА УПОКОЙ ЕЕ ДУШИ.

Когда все было кончено, дети вернулись в Гранатник, чтобы бросить последний взгляд на сад и дом; затем, взявшись за руки, они собрались покинуть усадьбу вместе со старой Аннетой, препоручив все имущество фермеру и доверив ему объясняться со стражами закона.

Именно в эту минуту старая служанка отозвала Луи к колодцу и сказала: «Господин Луи, вот кольцо хозяйки».

Мальчик заплакал: эта воплощенная память о покойной матери потрясла его. Он так хотел быть сильным, что забыл о своем последнем долге. Он обнял старую женщину, а затем все трое двинулись вниз по тропинке, спустились к дамбе и, ни разу не обернувшись, отправились в Тур.

— Матушка ходила этой дорогой, — сказал Мари, дойдя до моста.

В Туре на улице Герш жила кузина Аннеты, бывшая портниха. Аннета отвела детей в дом своей родственницы, где намеревалась поселиться. Луи посвятил ее в свои планы, вручил ей свидетельство о рождении Мари и десять тысяч франков, а на завтра вместе с ней отвел брата в коллеж. Он вкратце обрисовал ректору положение дел и откланялся, попросив брата проводить его до ворот. Здесь он с величайшей торжественностью объявил мальчику, что они остались теперь одни в целом свете, и нежно простился с ним, затем помолчал несколько секунд, обнял Мари, смахнул набежавшую слезу и пошел прочь; на ходу он несколько раз оборачивался, покуда брат его, стоявший на пороге коллежа, не скрылся из виду.

Месяц спустя Луи-Гастон поступил юнгой на казенный корабль и отправился из Рошфора в свое первое плавание. Прижавшись к бортовой сетке корвета «Ирида», он смотрел на берега Франции, которые стремительно удалялись и тонули в голубоватой дымке, застилающей горизонт. Он чувствовал себя таким же одиноким и затерянным среди просторов Океана, как и среди пустыни мира и жизни.

— Не плачь, юноша, Господь тебя не оставит, — сказал ему бывалый матрос грубым, но добрым голосом.

Мальчик поблагодарил его исполненным достоинства взглядом. Затем он смиренно склонил голову, готовый к превратностям морской жизни. Он стал отцом[4].

Ангулем, август 1832 г.

Примечания

Рассказ входит в «Сцены частной жизни». Написан в августе 1832 года в Ангулеме, где Бальзак гостил у своей приятельницы Зюльмы Карро (1796—1889). В письме к ней от 25 января 1833 года Бальзак вспоминал, что написал рассказ (первоначально носивший название «Сироты») за одну ночь. Впервые опубликован (уже под названием «Гранатник») в «Ревю де Пари» 28 октября 1832 г. Затем вошел в «Этюды о нравах XIX века» (1834), а в 1842 г. опубликован во 2-м томе «Человеческой комедии» в издании Фюрна.

У истории, рассказанной Бальзаком, имелись реальные прототипы. В частности, в окрестностях Тура, родного города писателя, жила в начале XIX века некая девица де Сен-Лу, вышедшая замуж за господина де Виллемесанса (отметим поразительное сходство этого имени с именем героини «Гранатника»), а затем бросившая его ради капитана Картье, от которого родила двоих сыновей. Одного из них, рожденного, согласно документам, «от отца и матери, не состоявших в законном браке и не признавших ребенка», мать около 1819—1820 гг., когда ему было лет одиннадцать, отправила в Тур, к бабушке, и можно предположить, что эта история неоднократно становилась предметом толков в провинциальном Туре, в поле же зрения современных исследователей она попала по той причине, что незаконнорожденный мальчик стал впоследствии, в 1850-е годы, прославленным журналистом — редактором газеты «Фигаро», героем многих скандальных происшествий.

Впрочем, даже если Бальзак при работе над «Гранатником» помнил о Жане Ипполите Виллемесансе, его биография была не единственной реальной основой рассказа. В образе главной героини явственно различимы черты первой возлюбленной писателя, Лоры де Берни (урожденной Хиннер; 1777—1836). Госпожа де Берни была несчастлива в браке, изменяла мужу и прежде, чем встретила Бальзака; в бумагах одного из ее сыновей, рожденных не от мужа, так же, как у мальчиков из рассказа и у подлинного Виллемесанса, значилось: «отец и мать неизвестны». Лора де Берни тяжело переживала свои измены, ощущала себя объектом общественного презрения и просила Бальзака (например, в письме от 18 июля 1832) оправдать ее в глазах добропорядочных женщин, в частности, в глазах Зюльмы Карро, в чьем доме Бальзак жил в это время. «Гранатник» и был написан во многом ради того, чтобы успокоить госпожу де Берни (которую Бальзак собирался покинуть, так как был увлечен маркизой де Кастри), чтобы убедить ее, что жизнь ее прошла не бесцельно, что оправдание этой жизни — в детях. Впрочем, госпожа де Берни этого оправдания не принимала. «Ты говоришь, — писала она Бальзаку 20 июня 1832 г., — что мое оправдание — в душе моего сына. Нет, дорогой мой, оно не там — ибо я все отдала тебе. От твоего будущего зависит, в покое мне жить или в тревоге» (Переписка. Т. 2. Р. 24). В отношениях госпожи де Берни к ее детям также многое напоминает «Гранатник»; в жизни, как и в рассказе, мать страдала, видя бедность и неустроенность детей; госпожа де Берни так же гордилась своим старшим сыном, Алексом, и с такой же нежностью воспитывала младшего, Антуана, который, между прочим, мечтал о морской службе (он в самом деле стал моряком, но это произошло уже после написания рассказа).

С именем госпожи де Берни связано и само заглавие рассказа. Гранатником называлось поместье в Турени, которое она нанимала летом 1830 г. и в котором у нее гостил Бальзак.

К турским воспоминаниям писателя восходит, вероятно, и фамилия героини — леди Брендон; в числе жителей Тура, с которыми предположительно общались родители Бальзака, был некий капитан Brenton, английский офицер, живший в городе на Луаре в 1805—1806 гг. (см.: Mozet N. Personnages anglais el la Touraine // Annee balzacienne — 1970. P., 1970).

Перевод выполнен впервые по изданию; Balzac H. La comedie humaine. P., 1976. Т. 2. Р.

421—443, где опубликован последний авторский вариант с учетом рукописной правки на экземпляре «Человеческой комедии» в издании Фюрна.

1

...на Турень саранчой налетели англичане... — В апреле 1803 года был разорван заключенный в марте 1802 года мирный договор между Англией и Францией, в результате чего все англичане, жившие во Франции или путешествовавшие по ней, были задержаны; многие из них попросили дозволения поселиться под надзором в Турени, славящейся превосходным климатом; с этих пор Турень сделалась среди британцев весьма популярным местом.

2

Жамере-Дюваль Валентен (1693—1755) — известный нумизмат и знаток древностей, заведующий отделом медалей Венской императорской библиотеки, в детстве был бедным сиротой и пас индюков; получить образование ему помогли приютившие его монахи.

3

Без отца. — Отец Луи Гастона и Мари Гастона, возлюбленный леди Брендон, упоминается в «Человеческой комедии» лишь однажды, во фрагменте «Отца Горио» (1834—1835), не вошедшем в окончательный вариант этой повести. Это некий полковник Франкессини.

4

Он стал отцом. — О дальнейшей судьбе братьев см. во второй части романа «Воспоминания двух юных жен».